

Русский Каспар Хаузер

Смена. — С. — Пб. — 1994. —
14 дек.



Фото Анатолия
ШИШКОВА

*"Я встречал в своей жизни
самых лучших людей,
но Ужасное сильнее".*

Каспар Хаузер, умирая Женья Горюнов открыл мне Каспара Хаузера. Посмотрев фильм Герцога, он взволнованно восклицал: "Весь мир во лжи, в мерзости. И он приходит совершенно чистый. Идет, как Христос, бесстрашный, сквозь все их паутины. И они его убивают". "Любое самоубийство — тайна, замешанная на непереносимой боли" (И. Кудрова). От этой непереносимой боли ухода художника Жени Горюнова не освободиться мне никогда. Он ушел в свой день Рождения. Ему исполнилось 50 лет.

На могиле Каспара Хаузера написано: "Здесь покоится неизвестный, неизвестным образом умерший".

Царский сын, жертва придворных интриг, он 12 лет провел в подвале. Сидя связанным и не зная, что можно встать, он питался только хлебом и водой. Ни разу не говорил ни с одним человеком и не видел людей — воду и хлеб приносили ночью. Вся его немудреная жизнь проходила в уходе за двумя деревянными лошадками. В 16 лет он был выставлен на площадь в Нюрнберге. Стоял, качаясь, как больной или пьяный. Так началась история, потрясшая всю Европу. Через пять лет Каспара Хаузера убивают те же силы, что держали его в тюрьме.

Каспар Хаузер — человек без кожи. Он, выйдя в мир, усиленно видел, слышал, постигал. Чудовищные головные боли сопровождали его "очеловечиванию". Так же больно было жить и Жене.

Мы выделились с Женей зимой, он уже пять лет как возвратился из эмиграции в Россию. Я выходила с вечерней службы из Казанского собора. Было светло на душе, на лбу теплился след кисточки — только в России так щедро благословляют святым елеем. Снег, торжественный и сказочный, прикрывал убогость перестроенной, некрасивой толпы. И всегда, всегда на этом месте я встречала его, вдохновенного, огненного. Женья как обычно шел по любимому городу, самому "мистичному в мире", пропуская сквозь себя его фантастические энергии. Шел на Петроградскую, общаясь с воздухом, рекой, родными камнями. Там, в Париже, он говорил мне: "Вижу во сне Ленинград. Плачу, целую гранит, набирая в рот снег". Мы тогда еще и не мечтали, что сможем вернуться. Первые выставки на родине были приняты с пониманием; Женья восклицал: "Представляешь, блокадники меня смотрят, и какие отзывы оставляют!". Скучный и холодный Запад толкнул Женью к тем же темам, что и меня, — юродство, безумие. Христа ради. Пророчество и Апокалипсис. Его картины там долго не принимались. Женья жил в Монжероне, последнем приюте для сумасшедших и неудачников. И жаловался, как и многие: "Струвятина (так называли мы не слишком человеколюбивого деятеля первой эмиграции, заведовавшего покосившимся Монжероном) опять мне угрожает". Потом дела пошли лучше. Был признан галерейщиками. Суровый Париж открыл свои двери. Но никогда здесь не чувствовал Женья себя дома. Слишком убога западная цивилизация, тем более для такого русского, как Женья. Редко кто выжил

в эмиграции. И физически (многие спилили, кое-кто покончил с собой), и духовно: в России, из которой бежали, художник был пророком, учителем и мучеником. В Париже и Нью-Йорке он становился конъюнктурщиком, ремесленником, лакеем галерейщиков и заказчиков. Разговоры только о деньгах, недружелюбные, злые. Россия вспоминалась нами, как потерянный рай. И мы не раз повторяли есенинские: "Если крикнет рать святая..." И Цветаева, и Есенин, и Горюнов умерли, потому что не узнали своего рая, они слишком любили Россию и физически не могли примкнуть к тем, кто раздрает ее хитон.

И опять сравнение с Хаузером:

"Открывая Божий мир и начиная свою единственную, короткую жизнь, Каспар Хаузер был бесконечно благодарен. Лишь однажды у него вырвался упрек: "Почему мне никто никогда не показывал звездного неба?"

Страшнее всех материальных и прочих трудностей в эмиграции то, что живешь не своей жизнью. В одном недавнем фильме герой-эмигрант обвиняет кагэбэшника: где я был, когда женился мой друг? Почему не я ходил к нему в больницу, не я покупал цветы? — Украденная жизнь. Похожая в своей нереальности на монотонные движения связанного ребенка, переставляющего своих деревянных лошадок.

Никого нельзя обвинить ни в чем. В самом деле, западные люди сделали все для тебя, они не виноваты, что ты не врос в их уютный мирок. Анонимность вины, анонимность толпы. Отсутствие лиц. 12 лет Каспар Хаузер не видел человека. Тот, кто держал его в плену, должен был перед Нюрнбергом научить его ходьбе. Но и тогда, когда "Ты" тащило Каспара на своей спине, оно тщательно скрывало свое лицо. Взгляда не было. Встреча не произошла.

Женья был почти так же выброшен в новый мир, как и Каспар Хаузер. Художник, давно знакомый, гостил у него в Париже. Вместе поехали в Питер. Женья принял уже советское гражданство, обрубил все концы. И на Варшавском вокзале тот художник неожиданно оставляет Женью. Без комнаты, без всего. Потом вызывали в мрачные подвалы. Кто-то спрашивал: "Валюту привез?" Долгая, изнуряющая борьба за свою комнату. Он был так окрылен, когда получил ее. Он жил и работал в недружелюбной коммуналке, где у него украли все, что привез из Парижа. Что слишком соответствует духу нашего време-

ни. Женья был аскетом. Он не нуждался ни в чем. Ел хлеб, лук, пил воду (почти как и Каспар в своей дыре).

В Петербурге он, кажется, общался только с самим городом. Художники — те, кто еще не уехал на Запад, "ожирели, продались здесь". Мы повстречались у Казанского. От радости я повела его в ближайшую "Европу". Оглушительная музыка, развязные девочки, противно. Но где нынче не противно? Женья, как всегда, бедно одет. Я тоже. Мы явно выделяемся. Особенно разговором. Лицо его горит вдохновением, он говорит, что побывал и в психушке, где "медсестра вот с таким шприцем подходит, спрашивает злобно: будешь голосовать за Ельцина?" Настораживало, что он признался: в психушке "раздваивался" и прилетал в свою светлую комнату. Настораживало и критическое отношение к священникам. "Слишком много быта и земного в их жизни". В церковь Женья, кажется, ходить перестал.

Женья как будто меня заново открыл: "Я теперь понял, кто Ты, раньше не понимал. Даже когда видел в библиотеке, не подходил. А теперь понял. Особенно, когда Ты салат заказала".

Пошли на Невский. Около метро "Гостиный двор" стоял чудесный русский, с бородой, с доброй улыбкой. Лет 50, с палочкой, приехал откуда-то из глубинки. Быстро увлекли его за собой. Пришли ко мне, сидели всю ночь, говорили, изумлялись, переживали, пели. Наутро — мне нужно ехать к родителям — я поручила Женью почти трезвому бородачу. Женья просил привести с Запада трубку (ее тоже украли) и кассету с Марией Каллас.

На мои проводы он пришел с молодой Оксаной, ему не соответствовавшей ни в чем. Из тех "новых", кто прямолинейно меркантилен и расчётлив. Она упрекала Женью, что "картины его слишком мрачны". Я возражала, говорила, что "мрачность — это апофатика, что в глубине скрыт мистический свет". Сама же думала, что и мне порой тяжело добираться до этих светлых глубин.

Это была наша последняя встреча. В мае его не стало. Сколько друзей потеряно в этом жутком году. Только молитвой еще и можно прикоснуться к их теням. Дерзая — уясняя и горько любя — просить за раба Божьего Евгения: "Господи, прости его, он не ведал, что творил. У него ничего не было. Он был только Твой".

Татьяна ГОРИЧЕВА

Париж